
Александр Солженицын: судьба, роль, образ в меняющемся времени

В заочном «круглом столе» принимают участие Алексей ВАРЛАМОВ, Всеволод ЕМЕЛИН, Марина КУДИМОВА, Михаил КУРАЕВ, Афанасий МАМЕДОВ, Дмитрий ШЕВАРОВ

Алексей Варламов, прозаик (г. Москва)

«Слишком много борьбы было в его собственной жизни...»

Меня всегда поражало в Солженицыне его загадочное отношение к писательскому сообществу. В автобиографической книге «Бодался теленок с дубом» автор предстает фактически одиночкой, а помогавшие ему в течение многих лет «невидимки» сделались известны только после падения советского режима. Но и они по большей части были люди, далекие от мира литературы. А вот что касается писательской среды, то Солженицын достаточно подробно описывает историю своих взаимоотношений с А.Т.Твардовским и членами редколлегии «Нового мира», с союзписательской верхушкой, с редакторами, цензорами, и все это сюжеты хорошо известные, но удивительно в той истории другое.

Не знаю, прав я или нет, но как мне представляется, в первой половине 1960-х перед Солженицыным стоял выбор, а точнее, открывалась возможность иного писательского пути, нежели тот, по которому он в итоге пошел. У автора поразившей читающую Россию повести «Один день Ивана Денисовича» был великолепный шанс войти в, условно говоря, легальную, подцензурную советскую литературу, заняв в ней максимально независимое, свободное место. Именно это после приглашения в Кремль на встречу с Хрущёвым, после стремительного вступления в Союз писателей СССР, выдвижения на Ленинскую премию, казалось, его и ждало, и все к этому шло. Солженицын мог бы войти в редколлегию «Нового мира», мог с его именем, его репутацией, авторитетом требовать максимальных уступок от цензуры, добиваться того, чтобы ему разрешали то, что не было позволено другим.

Примеров подобной авторской стратегии в русской литературе тех лет немало. Шукшин, Белов, Можаев, Абрамов, Воробьев, Астафьев, Распутин — все они писали искренне, глубоко, честно, очень многое не принимая в советской жизни, ругаясь, злясь на власть, иногда вынужденно уступая цензуре и одновременно подавляя, продавливая ее своим талантом, однако все-таки не переходя определенной черты. Не бодаясь с дубом, так сказать. То же самое относится и к Трифонову, и к Казакову, а позднее к Маканину, Киму, Искандеру, Битову. Собственно, именно к этому и

подталкивал, как мне представляется, Солженицына Александр Твардовский. Для того, чтобы жить, писать и печататься в России, чтобы говорить с читателями открыто, а не через сам- и тамиздат, вынужденно обрекая себя на определенную маргинальность, не надо становиться открытым врагом советского режима. Можно писать — и именно об этом скажет сам Александр Исаевич в 2000 году на вручении своей литературной премии Валентину Распутину, «без тени диссидентского вызова, ничего не свергая и не взрывая декларативно, /.../ как если б никакого "соцреализма" не было объявлено и диктовано, — нейтрализуя его немо, /.../ писать *в простоте*, без какого-либо угождения, каждения советскому режиму, как позабыв о нём».

Но в том-то вся и штука, что сам Солженицын писал и жил по-другому. Он не то что ничего не позабыл («Я хотел быть Памятью. Памятью народа, который постигла большая беда» — вот его писательское кредо), он боролся с этим режимом всею силой своего таланта, характера, темперамента, он сознательно обострял, взрывал ситуацию, поднимал заведомо неприемлемые темы, он раздражал, давал опасные интервью, вступал в рискованное противостояние с КГБ, подвергал свою жизнь смертельной угрозе, но при этом не только не примкнул к, условно говоря, диссидентскому крылу советской литературы, но по-человечески, по-писательски потянулся к тем, кто избрал в литературе иное, *недиссидентское* направление.

Вот конкретный пример.

В 1967 году А.И. пишет знаменитое письмо IV Всесоюзному съезду советских писателей с требованием обсудить самые острые, с его точки зрения, вопросы цензуры, публикации запрещенных произведений писателей XX века, он обвиняет Союз писателей СССР в хроническом бездействии, трусости, безволии, в равнодушии к судьбам Платонова и Мандельштама, Замятина и Булгакова. Рассылает это письмо участникам съезда и в итоге получает поддержку от ста с лишним литераторов (и ненависть начальства, апогеем которой можно считать требование Шолохова запретить Солженицыну писать). Но проходит еще несколько лет, и незадолго до высылки из СССР писатель дает интервью иностранным журналистам и называет самых интересных, с его точки зрения, современных русских авторов. Эти списки практически не пересекаются! То есть подавляющее большинство из тех, кто поддерживал Солженицына в его борьбе за отмену цензуры, не были им упомянуты, а большинство из тех, кого он назвал, его публично не поддерживали, да и вообще предпочитали держаться от политики в стороне.

Это по-своему парадоксально, но это так. Общественное и политическое расходятся. Складывается впечатление, что Солженицын признавал художественную правоту тех авторов, кто по разным причинам избегал политической активности или ставил художественное выше общественного. Может быть, потому что слишком много борьбы было в его собственной жизни и он интуитивно тянулся к иной линии поведения, может быть, само явление советского диссидентства с его преобладающей западнической, либеральной установкой уже тогда было ему чуждо, может быть, свойственная писателю с юности мятежность и психологическая революционность («Люби революцию!» — недаром называлась одна из его юношеских вещей) искала противоядия в творчестве тех, кто никаких революций органически не принимал и не любил. Позднее, в изгнании, все это выльется в противостояние с эмигрантами «третьей волны», в либеральное неодобрение общественных и исторических взглядов Солженицына, которое тянется вплоть до нынешних времен (хотя и уступает ярости тех, кто обвиняет писателя в развале СССР). Но во всех этих противоречиях мне видится какая-то очень важная личная черта принципиально беспартийного, не скованного никакими условностями, абсолютно свободного в своих вкусах, предпочтениях и поступках человека.

Всеволод Емелин, поэт (г.Москва)

На фоне Солженицына

Поскольку этот текст планировался как рассказ о влиянии Солженицына на рядового советского молодого человека 70-х—80-х годов, то в нем довольно часто будет использоваться личное местоимение первого лица. За что приношу читателям извинения.

Я был во многом типичным советским подростком. «Из служащих», как тогда писали в анкетах в графе «Социальное происхождение». Тут, правда, надо уточнить, что советские подростки делились на две большие группы: читающие книжки и книжек не читающие. Читающие, в свою очередь, делились на читающих обычные книжки и имеющих доступ к книжкам необычным. Под необычными понимались *самиздат*, *тамиздат* и *дотогоиздат*. Еще, наверное, были ребята, читающие на иностранных языках, но это была уже совсем экзотика. В основном из семей деятелей культуры и искусства, ученых, преподавателей вузов и т. п.

Я к ним не относился. В семье тамиздата не было, но семья была читающая. Даже, как многие семьи в то время, со своеобразным культом чтения. Тогда слово «интеллигентный», в отличие от нашего времени, являлось комплиментом, а не оскорблением. Люди, чувствующие в себе недостаток интеллигентности, не бравировали этим, а напротив, ощущали это как некоторую неполноценность. Сегодняшнему положению вещей, когда общество вернулось к чеканной ленинской формулировке: «На деле это не мозг, а говно», немало поспособствовал своим творчеством и Александр Исаевич Солженицын. Какое мнение верно, какое нет, Бог рассудит. Но, повторюсь, в 70-е годы тянуться к культуре и прежде всего к чтению было модно и престижно. И тут я имел серьезное преимущество перед большинством сверстников. Дело в том, что мать работала секретаршей у одного весьма крупного по тем временам начальника. Это давало ей доступ практически ко всем незапрещенным книгам тогдашнего СССР. Когда мне нужно было что-то, я просто по телефону сообщал ей название и автора, а вечером она приносила из служебной библиотеки эту книжку. Вообще из-за места работы матери я в детстве, отрочестве и ранней юности был лишен очень многих проблем, имевшихся у большинства советских людей. Результатом было то, что иллюзии насчет окружающей действительности у меня сохранялись дольше обычного. А чем дольше сохраняются иллюзии, тем стремительнее и катастрофичнее их крах.

Первая идеологическая дефлорация произошла, когда мне было 14 лет. Тогда весной на дачу богатые родственники привезли приемник «Океан-203». Покрутив ручку настройки, я с удивлением услышал на русском языке какие-то совершенно нестандартные новости. Приемник увезли, но дома обнаружилась радиола «Sakta», на которой время от времени крутили грампластинки. Я быстро освоил ее КВ-диапазон, и на много лет, вплоть до угара перестройки, прослушивание вражеских голосов стало неотъемлемой частью жизни. А тогда шел 1973 год. После первого визита президента Никсона в СССР постепенно набирала силы так называемая «разрядка международной напряженности». Как одно из последствий, ослабело глушение западных радиостанций, вещающих на русском языке. Ну, кроме самой злойзвонной станции «Радио Свобода». На ней первой был целиком прочитан «Архипелаг ГУЛАГ». Впрочем, в Москве ее было не слышно, а в командировки я тогда еще не ездил. Но Би-би-си, «Голос Америки», «Немецкая волна» все чаще оказывались доступны. 1973 год, кроме всего прочего, был и годом Солженицына. Осенью

рукопись «Архипелага ГУЛАГ» попала в руки КГБ. Потом появилось письмо писателя «Вождем Советского Союза», а в декабре на Западе вышел первый том «Архипелага».

Тем удивительнее, что по настоящему мое внимание к Солженицыну привлекли не клеветнические голоса, а советская пресса. Имя автора затерялось среди множества незнакомых мне тогда имен, поминавшихся в передачах, от Бердяева и Струве до Синявского и Роя Медведева. Запомнилось только громкое, загадочное слово — ГУЛАГ, значение которого еще довольно долго оставалось для меня неведомым. К тому же литературные произведения на этих радиостанциях зачитывали такими занудными голосами, что сам процесс слушания их был сродни подвигу. А сам я тогда читал только фантастику и с юношеским максимализмом отрицал право любой другой литературы на существование. Гораздо интереснее были репортажи с фронтов разразившейся тогда «Войны Судного дня». Но про Солженицына очень скоро напомнили мне и родные СМИ.

Ознакомившись с «Архипелагом», вожди Советского Союза, вообще-то быстротой реакции не отличавшиеся, тут сразу почувствовали и верно оценили масштаб опасности. Ах, эти святые, патриархальные времена, когда книги могли влиять на историю! Ну и всем тогдашним агитаторам-пропагандистам, политинформаторам, горланам и главарям была дана команда «фас». Этих ребят тогда было, конечно меньше, чем сейчас политологов, аналитиков и экспертов, но все равно чрезвычайно много. И дело пошло. Сколько лет пролетело, а помню как сейчас материалы в «Литературной газете». Ее тогда еще называли еженедельником для интеллигенции. Эта газета, являясь органом Союза писателей, а не партии и правительства, должна была себе позволять «на вопросы смотреть пошире». Так ей еще Сталин приказал. Каждый советский человек с интеллектуальными претензиями считал долгом ее читать. Подписка, кстати, была ограничена. Названия «Отпор литературному власовцу», «Конец литературного власовца». Сборник отважных и гневных ответов советских писателей различных национальностей бездарному предателю. Само определение «власовец» Литературка и изобрела. Другие газеты ухватились. На это и напирали. Что Солженицын германофил, поклонник Гитлера и т.д. Из глубины памяти выплывают приблизительные цитаты вроде такой: «Пока бои шли на территории СССР, Солженицын из последних сил еще держался, но когда фронт подкатился к его любимой Восточной Пруссии, он не выдержал...» Историки уличали в невежестве. Вроде перепутал «Билль о правах» с «Великой хартией вольностей». В программе «Время» женщина с кислым лицом унылым голосом сообщила: «Сегодня Указом Президиума Верховного Совета СССР из Советского Союза выдворен Солженицын». В школу на урок обществоведения пришла директриса со специальным докладом. «Вы же понимаете, ребята, какую подлую ложь про нашу Родину он написал в своей книжке "Архипелаг ГУЛАГ"? Чебыкин, что он написал?». Чебыкин привычно затынул: «Ну-у-у... Эта... В общем... Э-э-э...» «Он написал, что наша Родина — один огромный концлагерь!» Ну, это действительно подлая ложь. Однако смысл слова «ГУЛАГ» начал понемногу проясняться. Писателей и историков уже не хватало. В программе «Время» прошел сюжет «Трудящиеся отвечают литературному власовцу». Не то на ЗИЛе, не то на АЗЛК группа мужчин и женщин в комбинезонах, с сокрушенными лицами и чуть ли не с кувалдами в руках. Молодой здоровый парень: «Попадись мне этот Солженицев, я бы с ним по-мужски поговорил».

Сейчас ведь как? Государственным строем никто не доволен, зато в президенте души не чают. Тогда было наоборот. Генсека никто терпеть не мог, а гос. строй в основном людей устраивал. А Солженицын, как уже ясно было, посягал именно на строй. И подумалось: а ведь он ходил среди людей, книг его не читавших, но готовых его разорвать, причем безнаказанно. Тут из голосов узнал, что, оказывается, он уже четыре года нобелевский лауреат по литературе. Советские газеты про это молчок. Выяснилось, что родители в начале 60-х читали «Ивана Денисовича». Помнят

отлично. Книга про сталинские лагеря. У отца отец расстрелян. У матери дядя. Фантастика фантастикой, но книжки про лагеря и тюрьмы у подростка середины 70-х вызвали жгучий интерес. Их практически и не было. Одноклассников, с малолетки приходивших, только что на руках не носили. Все это осталось в памяти.

В дальнейшем и в советской печати, где его тоже не забывали, и по голосам я старался внимательно отслеживать новости о писателе. Но книг его не читал и в руках не держал.

Следующий этап моих отношений с творчеством Александра Исаевича начался совершенно неожиданно. В 76-м закончив школу, где был беспросветным троечником, я поступил в не очень престижный московский технический вуз. Там в группе оказалось два москвича — я и Иван. Он был как раз из кругов, близких и к диссидентам, и к литературной богеме. Отец, кандидат наук, специалист по физике атмосферы, был, как тогда называлось, «подписант». Подписывал требования освободить Синявского и Даниэля, Горбаневскую и Делоне, Литвинова и генерала Григоренко. За это стал невыездым. Даже личные приглашения Жака-Ива Кусто не помогали. А дядя Ивана был поэт круга Бродского, один из «ахматовской» четверки. Уж где должны были иметься книжки Солженицына, как не там? И вскоре я гордо нес домой роман-газету «Один день Ивана Денисовича» с портретом автора на обложке. Риска никакого, советское издание 60-х. Из библиотек изъято, но не у граждан. Приятель, которому показал, сказал, взглянув на обложку: «Сразу видно — физиономия склочная». «Отсиди восемь лет, посмотрю, какая у тебя будет». «Один день» я прочитал очень внимательно. И какой ни дурак я был в свои 17 мальчишеских лет, но понял — эта книга не против «отдельных случаев нарушения социалистической законности в период культа личности». Эта книга против советской власти вообще. Во всех ее проявлениях. Как ее прозвали (или наоборот, не прозвали?) хрущевские идеологи, до сих пор ума не приложу. Значит, можно и так. Не держа в кармане фигу «социализма с человеческим лицом». Будем знать.

Дальше — больше. Вторая книга, полученная от Ивана. Первый прочитанный мной тамиздат. Не помню, второй или третий том шеститомного (кажется) собрания сочинений Солженицына. Толстая книга в ярко-салатовой обложке с серебряным тиснением. «В круге первом». Книжка читалась одним духом, но до сих пор кажется мне неудачной. Слишком лобовой, что ли. Но с ней открылись неожиданные подробности из жизни близких.

Я выше упоминал, что тамиздата в семье не водилось. Водился. Отец, член КПСС, читал «Круг». Ну и мать, естественно. Главное, отец уже много лет работал в отделе технической эстетики Научно-исследовательского института автоматики. НИИА. Один из бесчисленных почтовых ящиков. В Останкино. На Ботанической улице. Оттуда он его и принес когда-то. Мне не показал. Его читал весь институт. НИИА это и была «шарашка Марфино». Читали и узнавали помещения, в которых сидели в 40-х герои Солженицына, а теперь сидят работники НИИА. Отец смеялся: «И ведь, стервец, государственную тайну выдал, чем секретнейший объект занимается». — «Бать, они там вокадеры, клиперы какие-то разрабатывают. Это что?» — «Про клипер не в курсе, а вокадер всегда в работе, постоянно усовершенствуется. Что это — из названия понимать должен. Вокал и код. Голосовой шифратор. Позволяет кодировать устную речь». Кстати, и глушилки, сквозь которые я на старенькой «Sakte» пробивался, тоже в НИИА конструировали. Причудливо тасуется колода.

Третья книжка — «Раковый корпус». Это был уже классический тамиздат. Формат с ладошку. Мягкая пластиковая обложка. Папиросная бумага. Издательство «Посев». На мой взгляд, лучшая книга Солженицына и одна из лучших русских книг двадцатого века. Ни одного лишнего слова. Каждый персонаж на своем месте и накрепко вписан в сюжет. Все ружья стреляют.

Ну и, как вишенка на торте, четвертой книгой оказался «Архипелаг». Его ругают. Чем дальше, тем больше. Ругают за недостаточную художественность. А там есть

изумительные места. Побег Тэнно и Коли. Кенгирское восстание... Ругают за исторические неточности. Цифры преувеличены. Книжка писалась в подполье, без доступа к любым документам. Да и цель имела не факты систематизировать, а нанести максимальный вред господствующей системе. Что блестяще и осуществила.

На том же Западе после выхода «ГУЛАГа» количество «полезных идиотов», сочувствующих СССР, стремительно сократилось. Кто в маоисты ушел. Кто в еврокоммунизм. Остались только уж совсем на прямом содержании КГБ состоящие. И еще на один момент хочется внимание обратить. Хотя лучше бы не обращать, конечно. Что знали в Москве в начале 80-х о чеченцах? Да тогда азербайджанцев на рынках грузинами считали. Из Лермонтова что-то. Максим Максимович, Бэла, уланы с пестрыми значками, драгуны с конскими хвостами, чеченцы... А Солженицын, пожив с ними бок о бок в лагерях и в ссылке, абсолютно точно предсказал, что у любого государства, имеющего имперские амбиции, с этим народом будут проблемы. Внутренние и внешние. Всегда.

Годы шли. Насмотревшись на лагеря в экспедициях, я в середине 80-х осел в Москве. Опять же Иван пристроил меня в некую религиозно-диссидентскую тусовку. Тут я впервые познакомился с по-настоящему образованными людьми. Просто ходил подавленный обрушившимися на меня пластами культуры. Ведущий группы был для меня непререкаемым авторитетом, а его авторитетом был «вермонтский отшельник». Он был в курсе всей эмигрантской и оппозиционной полемики вокруг Солженицына. Сам в самиздате защищал его от дежурных обвинений в антисемитизме, национализме и авторитаризме. Цитирую очень приблизительно, по памяти: «Доходит до обвинений в погромах. А вот мне, например, трудно расценить иначе чем погромную позицию журнала "Синтаксис", который создан, похоже, с единой целью — вести мелочную и склочную полемику с А.И.Солженицыным, делающим дело России». Люди этого круга опознавали своих по цитатам его книг. В разношерстной малознакомой компании кто-то, намазывая бутерброд, произносил вдруг: «Маслице-фуяслице» — и все понимающе улыбались.

Господи, «какие прекрасные лица и как это было давно»...

А вокруг, между тем, судьбоносная перестройка все углублялась и углублялась. «Архипелаг ГУЛАГ» напечатали в «Новом мире». Перевозбужденная страна ждала как манны небесной слова пророка. Пророк долго молчал, а потом сообщил «Как нам обустроить Россию». Чуда не произошло. Копья вокруг текста ломались, но в общем стало ясно, что настоящая история делается уже не там. Уже читая «Красное колесо» весной 91-го года, я рассматривал его как успокоительное «в разворошенном бурей быте». Потом было много всего. Гротескное возвращение в личном поезде. Ленивый, выдыхающийся скандал все на ту же тему вокруг «Двести лет вместе»... И уже после смерти — совершенно хармсовский спор на встрече Путина с литераторами правнука Достоевского со вдовой Солженицына, кто круче сидел — его прадед или ее покойный муж?

Как многих других, Александра Исаевича утянул на дно чудовищный броненосец СССР. Не то что он его потопил, но среди комплекса причин, отправивших судно на дно, кроме развала в машинном отделении, столкновения с айсбергом, дезертирства команды, была и его торпеда под ватерлинию.

Однако великий человек тем и велик, что всегда возвращается из забвения. И сейчас можно с интересом наблюдать, как вдруг вновь оживился злобный интерес к Солженицыну. По-прежнему его атакуют слева, правда, уже не за антисемитизм и национализм, а за грязную клевету на крайне эффективного менеджера И.В.Сталина. Атакуют справа за низкопоклонство перед инородцами. Ишь ты, плохих эстонцев Иван Денисович не видел. Ишь ты, бандеровцы в «ГУЛАГе» — «спокойные, плечистые хлопцы». Историки не устают опровергать с цифрами в руках. Короче, опять актуален Александр Исаевич Солженицын — последний писатель в истории человечества, на эту историю непосредственно повлиявший.

Марина Кудимова, поэт, прозаик (г.Москва)

Непререкаемый историзм

Гений — это вовсе не только, а на русской почве и не столько — человек, наделенный выдающимися способностями в какой-то области, но и человек, сполна обеспеченный сопровождением таковых способностей судьбой. По этому признаку Александру Солженицыну мало найдется равных. Главное качество гениальности — универсализм, равноодаренность, с какой стороны ни зайди, в том числе и с биографического бока. Гений осложняет задачу исследователя неуловимостью, недоступностью воображению и разуму самой своей природы и упрощает эту задачу в том отношении, что любой — без преувеличения — фрагмент текста, если речь идет о словесном воплощении, такой же универсум, как и весь свод созданного.

«Как при мощных геологических катастрофах новые взрывы, взломы и скольжения материковых пластов происходят прежде, чем окончились предыдущие, даже перестигают их, — так в эту русскую революционную ночь совместились несколько выпереживающих скольжений, из которых единственного было достаточно — изменить облик страны и всю жизнь в ней, — а они текли каменными массами все одновременно, да так, что каждое следующее отменяло предшествующее, лишало его отдельного смысла, и оно могло хоть бы и вовсе не происходить». Выписка из статьи А.Солженицына «Размышления над Февральской революцией», посвященная роковой ночи падения русской монархии, одновременно — методом наложения — применима и к тектонической, сейсмологической художественной системе, созданной Солженицыным, — системе «выпереживающих скольжений».

«Одного дня Ивана Денисовича» было бы достаточно для появления писателя нового типа, создания нового литературного жанра, нового стилистического метода и нового языка национальной прозы. Зачин приведенной выше цитаты объясняет «геологическую» природу гения Солженицына, который в одиночку справился с задачей, не подвластной всей литературе XIX и начала XX века — до катастрофы. Задача эта, как и задачи более мелкие, вполне осознанно поставленная рациональным сегментом необъятного сознания гения, состояла в преодолении «второго раскола» русской истории. Первый — церковный раскол XVII столетия, который Солженицын называл «безумным», — привел к «обезбоживанию», духовному иссяканию общества накануне революции. Второй — ставший к тому же XIX веку непреодолимым — разрыв между культурным меньшинством и массой, давшей перворосток, первооснову данной культуры. Об этом разрыве много и сокрушенно писал самый близкий к Солженицыну по масштабу русский титан — Лев Толстой. Сближает их прежде всего непререкаемый историзм, без которого писания обоих никогда не сыграли бы роли катализатора не только литературы, но и куда более глобальных процессов. Одной из причин победы радикализма в борьбе за власть на 1/6 части суши Солженицын считал слабость Государя «против образованного класса — а это уже была половина победы будущей революции»: «В столетнем противостоянии радикализма и государственности — вторая всё больше побеждалась если не противником своим, то уверенностью в его победе... Столетняя дуэль общества и трона не прошла вничью: в мартовские дни идеология интеллигенции победила...»

При том, что Солженицын не менее пристрастен и несправедлив к последнему Царю, чем Толстой к Церкви, к обоим полезнее прислушаться, нежели отмахнуться и огрызнуться, как это происходит сейчас во всех общественных лагерях в условиях,

когда постмодернизм, возобладавший над всеми сферами, низвел гения в лучший случае до игрока в бисер. Солженицыну удалось то, что было невозможно Толстому, — взглянуть на русскую историю изнутри, глазами не князя Болконского, но Платона Каратаева и капитана Тушина — прямых участников процесса, вынужденных к участию происхождением, а не стремлением к «героизму» и не должностными обязанностями аристократа.

Толстой обозначил места разрыва исторического единства и оставил набор тяжёлых инструментов — уровень, рулетку и правило. Солженицыну удалось произвести монтаж стяжки расколотой русской истории — во многом вопреки собственным идеологическим установкам, благодаря усилию не разума и знания, но гения. А гений не осуществляется без интуиций и сверхсознательного, безрасчётного догадывания.

Метафизичность судьбы Солженицына, конечно же, имеет много измерений. И юношеские преодоления комсомольской слепоты, и тюрьма, опыт которой он так ценил, и чудесное излечение от смертельной болезни, и изгнание — без любого из элементов «жития» Солженицын мог не состояться в своей неизрекаемой полновесности. Но «отдельный смысл» каждой из этих частей жизненного повествования не сложился бы воедино без сверхзадачи и сверхцели. Писатели «из народа», хлынувшие в литературу после революции, могли быть сколь угодно талантливы. Но состояться без принятия условий игры с государством никому из них просто бы не дали. И трагизм судьбы Шолохова состоит не в череде «разоблачений» авторства «Тихого Дона», к которым и Солженицын приложил увесистый кулак, а в буржуазности как неотъемлемой составляющей страшной навязанной игры, в сытости и кошмарном благополучии бытования советского писателя среди страданий последовательно сживаемых со свету матрен и иванов денисовичей. И не испив вместе с матренами и денисовичами их горькой чаши, Шолохов не мог сказать того, что сказал Солженицын: «Селективным противоотбором, избирательным уничтожением всего яркого, отметного, что выше уровнем, — большевики планомерно меняли русский характер, издергали его, искрутили... Давние черты русского характера — какие добрые потеряны, а какие уязвимые развились — они и сделали нас беззащитными в испытаниях XX века».

Глеб Нержин, герой «В круге первом» и протагонист автора, потянулся к дворнику Спиридону не так, как Пьер Безухов к Каратаеву. Пьер не мог верить в преодолимость этой бездны. Он лишь прильнул — и отпрянул в свои привычные «залы», «манжеты» и саксонский фарфор, а Нержин — поверил, что единение возможно не только на вынужденном уровне заточения — и не ошибся. Солженицын состоялся, потому что преодолел элитарность — тюрьмой, а безбожие — раковым корпусом. Он стал первым выходцем из «общества бессмертия», поправившим смерть, первым после Толстого писателем, проповедующим, а не только повествующим. Но проповедующим не собственные «искания» и метания, а то, что прежде казалось неизблемым, а после — навсегда и безвозвратно утраченным: «А истина, а правда во всем мировом течении одна — Божья», то есть — Евангельская. Солженицын состоялся прежде всего — и важнее всего — как православный христианин. Этому не помешали ни повальное религиозное диссидентство «образованщины», ни сгущающаяся «европейская ночь», которую Солженицын видел внутренним зрением при всеобщем ликовании от победы «прогресса», ни иные «взрывы, взломы и скольжения материковых пластов». И потому он — и только он — имел право обличения народа, спасовавшего перед волей «чёрного злодейства коммунистов». Право такое дается лишь любовью и причастностью: «У русского духа не хватило стойкости к испытаниям»; «Это уже не была Святая Русь». Первое утверждение опровергла Отечественная война. Второе остается неопровергнутым. Но, пока горит лампадка в нишей избе Матрены, надежда не потеряна.

В век, когда стиль подмял и нивелировал язык и Набоков безоговорочно победил Платонова, Солженицын создал новое единство стиля и языка, и простить ему этого не могут ни «стилисты», ни «язычники». Его так часто упрекали в «советскости» — в

том числе и стиля, что эта полемическая натяжка стала казаться верным допущением. Еще бы! Ведь он, верный ленинец, намеревался написать роман «Люби революцию!» Правда, было ему тогда от силы 17 лет. Биография любого публичного человека при каждом удобном случае прикладывается в виде компромата к его сочинениям. Но если читать не только серию ЖЗЛ, а собственно сочинения, тексты, то очень скоро становится неопровержимо ясно, что Солженицын и здесь стянул, замостил разделенные берега древнерусских словесных памятников, русской классики и советской литературы, взял лучшее и добился адсорбционного равновесия.

Одного только не мог предусмотреть он, кажется, все предусмотревший литературный подвижник: что язык и стиль станут недоступны читателю в силу утраты культурных ориентиров и понимания литературы как особого высококонцентрированного языка. И что сам читатель иссякнет, падет в неравной борьбе с «прогрессом», сраженный вероломным нападением не интересной ему, ничего не дающей уму и сердцу квазилитературы. Жертвой этой войны с читателем, разгоревшейся после отмены цензуры и вообще любых ограничений, стала главная книга Солженицына — «Красное колесо». В дикой мешанине рынка книга эта осталась втуне, не достигла цели. Солженицын говорил о революции как о «хаосе с невидимым стержнем», добавляя: «Она может победить и никем не управляемая». Так вышло в рыночной стихии и с «Красным колесом», поверженным неуправляемым хаосом разнородности и разномастности издательского вала. Чем немедленно воспользовались радикальные критики, объявив эпопею Солженицына неудобочитаемой. Но литература живет по иным правилам, и система табу часто играет против себя и забивает в свои ворота. «Заделывай на апгрейд», как говорят компьютерщики, в культуре благотворны, даже если временная перспектива смутна. Солженицына еще только предстоит прочесть — не замыленным политикой и конъюнктурой глазом. Просто — как великого русского писателя.

Михаил Кураев, прозаик (г. Санкт-Петербург)

Уроки Солженицына

Отечественная литература предоставляет читателю, обществу как творческое наследие писателя, так и неотделимую от творчества самую его жизнь.

И одно и другое принадлежат истории, духовному опыту нации.

Вечно рвущийся на волю и попадающий из одной неволи в другую Пушкин. Бездомный, словно живущий в дороге Гоголь. Тургенев, который видится даже на гауптвахте в шлафроке и покойном кресле. Бесконечно меняющий в пространстве одного города жилище Белинский. Лермонтов — непостижимая комета, каковую удалось разглядеть лишь в удалении в безвозвратные миры... Они все в равной мере принадлежат и литературе и нашему историческому национальному опыту.

Сегодня речь об Александре Исаевиче Солженицыне.

Столетие со дня рождения, а чувство такое, словно его реальное, осязаемое присутствие длится... Зайду в театр на Таганке, увижу его в фойе сидящим с чашечкой мороженого в руках, увижу его обезоруживающую улыбку и услышу признание: «Люблю мороженое».

Он рядом. Его обжигающие тексты не остыли. И чрезвычайно интересно следить не только за мыслью великого человека, но и за тем, как он спорит с самим собой. И не только потому, что живем в непредсказуемо переменчивом мире. Перечитывая «Матрёнин двор» и «тамбовские», деревенские главы «Красного Колеса», ты видишь, как художник спорит с очеркистом, как автор программы «Как нам

обустроить Россию» освобождается от иллюзий и пишет неопровержимое свидетельское показание — «Россия в обвале».

И хотя профессия школьного учителя, успешного учителя, органическая составляющая внутреннего уклада писателя, на мой взгляд, то обнаруживает себя, то вовсе неразличима, причастность его к этой славной профессии я, к примеру, вижу прежде всего в том, что его жизнь и творчество — урок. И вызывает восхищение, как он «готовится к уроку» — и на войне, и в лагере, и в архиве.

Когда я работал над сценарием по «Красному Колесу», мне довелось познакомиться с библиографией, насчитывающей тысячи наименований публикаций и архивных материалов, дневников, так или иначе запечатленных свидетельств участников и комментаторов событий, о которых пишет Солженицын. Три десятка страниц, заключительные главки «сплотки» «Ленин в Петрограде» («Красное Колесо») — какой насыщенности текст, как он интонирован голосами главных персонажей, Ленина и Троцкого, к примеру. Какие «гвоздевые» характеристики своим сподвижникам, попутчикам и врагам дают эти герои, но их «играет» автор! Увы, кино такое не по зубам. Может быть, когда-нибудь...

Читая Солженицына, размышляя над его «уроками», я вовсе не чувствую себя за партой, с тетрадкой. Настоящие учителя не те, что тычут ученику в лоб пальцем и вразумляют: «Запомни на всю жизнь!» Именно проза Солженицына, как я её воспринимаю, заставляет вспомнить прогулки Сократа с теми, кому ход его мысли интересен. Проза Солженицына — это приглашение к со-беседованию. Автор не скрывает своей пристрастности. Но пристрастность пристрастности рознь. И прежде всего надо понимать: чем она продиктована? Солженицын не скрывает своей «ориентированности» в политическом пространстве и человеческих симпатиях. И для выражения своих «пристрастий» Солженицын-художник располагает широчайшим арсеналом средств. Страницы, исполненные сатирическим пером, особенно мне по душе, и «В круге первом» — Сталин, пишущий о языкознании, и в «Красном Колесе» — история «святого семейства», а Керенский!..

Солженицыну тесно в границах узаконенных жанров.

И еще один «урок» — как быть, когда стиль вступает в конфликт с материалом? А довериться материалу! Дать высказаться своим голосом — событию, герою, истории. А то, что это будут разные голоса, ну что ж, приоритет за историей!

«Уроки Солженицына» — это и сама его жизнь, не только творчество, но и уникальный человеческий опыт деятельного, неотступного и талантливого противостояния всему, что насилует, калечит, унижает человека. Предоставлю воображению читателя возможность представить все многообразие и значимость этих «уроков»...

Солженицын, выдворенный из Советского Союза, пришелся не ко двору нашей эмигрантской «третьей волне». Солженицын, вернувшийся на родину, не пришелся ни к «либеральному двору», ни к «ельцинскому», ни к «патриотическому». Это ли не урок свободы?

А либералы суровы, кто не с ними, тот против них!

Солженицына надо задвинуть!

В общественное сознание вбивается всеми дозволенными и недозволенными средствами мысль о том, что «его время» прошло. Дескать, спасибо за «ГУЛАГ», спасибо за «Ивана Денисовича» ...

Как художнику — отказать! Как мыслителя — не принимать!.. Как политика — забыть!

Ярчайший пример — «Двести лет вместе». Этот труд третируется. Почему история диалога двух народов вызывает подозрение и желание немедленно опровергнуть, а то и заклеить? А мы не приучены к диалогу. Оглянемся. Как формировалась европейская культура? Ее формирующее начало — диалог. Античная философия — диалог. Европейские университеты — диспут. Утопия «Город солнца» — диалог. Даже предтеча современного европейского романа — эпистолярный роман, это тоже

диалог. Были и Торквемады, и Савонаролы, были инквизиция и Варфоломеевские ночи, абсолютизм, но фундаментальное основание европейской культуры, диалогической культуры, выстояло и сформировало одну из самых уважительных по отношению к человеческой личности общественно-политических структур. При всех оговорках.

А нам подавай учение единственно верное и потому победоносное. А кто не с нами?.. И святой креститель Руси крушит Перуна, крушит языческие капища... И добрый Пастырь становится пастухом с кнутом. И патриарх Никон, только истины ради, берет топор и рубит в храме и топчет «неправильные» иконы и шлет на костер не желающих единственно верно молиться и креститься... И дальше — по списку.

Зачем этот экскурс? Солженицын целиком существует в контексте отечественной истории прежде всего.

Есть ли у нас во второй половине минувшего века другой со-беседник о нас, о прожитом, изболевшем?

Есть ли еще равный ему свидетель и сострадатель народных бедствий?

Он не создал «единственно верного и потому правильного» научения для всех. Он сделал больше. Он помог целому поколению, моему уж точно, сделать шаг к внутренней свободе. А как писатель и историк он вернул, к примеру, в наше историческое сознание «Февраль» как исток «Октября». Уже никто не минует дороги, проложенной «Красным Колесом»...

Юбилейная апологетика — не мой жанр. Я никогда бы не повесил у себя дома портрета Столыпина с его изумительными колечками на тонких кончиках усов (раскрутись одно колечко, и портрет станет шутовским). «Утро начинаю с распределения пулеметов», — так писал саратовский губернатор жене в Ковно в 1905 году. И Колчака даже в сладчайшем исполнении актера Хабенского тоже бы на стенку не повесил...

Но нет у меня другого со-беседника, искреннего, страстного, страдающего человеческой боли, сознательно с молодых ногтей избравшего судьбу как служение людям.

Помнится, Ленин, более чем нелюбимый Александром Исаевичем Солженицыным, писал, что лучший способ отметить юбилей — это сосредоточить внимание на еще не решенных задачах. И юбилей — это повод осознать, как важно для всех нас сегодня, уверен, и завтра, читать Солженицына, размышлять вместе с ним, соглашаться, спорить... Учиться свободе.

Мне кажется, что Солженицын еще не прочитан, еще предстоит осознать и пережить этот уникальный творческий и жизненный опыт.

Афанасий Мамедов, прозаик (г.Москва)

В забытом эфире

Книг, способных повлиять на сознание читателя, избавить его от страхов и поставить на Путь, не так много. И здесь у каждого свой «джентельменский» набор. В мой входят: «Евангелие от Луки», «Лолита» и «Дар» Владимира Набокова, «Джан» и «Река Потудань» Андрея Платонова, «Прощай, оружие» и практически все рассказы Эрнеста Хемингуэя, «Тропик Рака» Генри Миллера, стихи Иосифа Бродского, выданные мне когда-то на одну ночь, «Архипелаг ГУЛАГ» и «Один день Ивана Денисовича» Александра Солженицына. По сей день хорошо помню не только тех, кто вывел меня на эти книги или снабдил ими, но и какой эмоциональный след они оставили.

Некоторые из них я перечитывал по многу раз, и только платоновские и солженицынские никак не соберусь перечитать. Что-то останавливает меня, вероятно, те усилия, которые потребуются для их прочтения: очень уж темна была река, по которой они плыли, и тяжелы были весла.

Среди отечественных писателей конца XX века мало кто вызывал бы столь противоречивые чувства, одновременно находясь и в эпицентре нашей литературы, влияя на нее одним своим присутствием, и на ее дальних рубежах, как Солженицын. О ком еще столько говорили по случаям самого разного калибра, и кто еще остался столь невоспринятым и неузнанным — при той степени писательской известности, какая у него была. И сегодня, несмотря на то что Людмила Сараскина написала биографию Александра Исаевича, им же самим одобренную, а в издательстве «Время» вышло двадцать три тома его сочинений из тридцати намеченных, мы не можем до конца сложить для себя образ Солженицына.

В то же время сказать об Александре Исаевиче что-нибудь захватывающе новое, что-нибудь исключительное, также кажется задачей непосильной, особенно после вдумчивых и тонких статей Андрея Немзера, после ярких и провокационных лекций на YouTube Дмитрия Быкова. Может, прав Немзер: это все из-за масштабов Солженицына, из-за его к нам масштабной снисходительности? К слову, Андрея Немзера сегодня можно назвать не только главным толкователем текстов Солженицына, но и самым авторитетным его заступником. Казалось бы, уж за Солженицына чего заступаться? Но нет, не все так просто, в особенности в кругах академических, пристрастия представителей которых несколько отличаются от пристрастий библиотекарей, школьных учителей и свободных книгощеров длительностью и накалом.

Дмитрий Быков интересно рассуждает о «Красном колесе» и конце истории личности, о приключениях жанра у Солженицына-модерниста и Солженицына-ирониста (!), когда сравнивает с Достоевским, проводя одну параллель за другой, пытаясь убедить нас в том, что у каждого из нас «свой Солженицын» — ну, как Пушкин, Толстой, Достоевский, Чехов. Но что-то не получается. Быть может, оттого, считает Дмитрий Быков, что еще недостаточно времени прошло со дня кончины Солженицына. Возможно, к следующей круглой дате и он, Александр Исаевич, объединит левых и правых, славянофилов и западников, эмигрантов всех волн и читателей всех мастей, а пока мы имеем то, что имеем. И немало имеем — двадцать три тома из тридцати, говорят, готовится к публикации и дневник «Красного колеса», и эпистолярное наследие. Наверное, после выхода этих томов снова будет о чем говорить.

Но как быть уже сейчас с книгой Солженицына «Двести лет вместе», которая в корне изменила мое отношение к автору? Уверен, что не только я один не смог принять ее и даже был раздосадован появлением этого труда. Правда, некоторые историки литературы и писатели — такие, например, как Бенедикт Сарнов и Владимир Войнович, — не видели в появлении книги «Двести лет вместе» ничего удивительного. Как подобное произведение могло выйти из-под пера классика — судить не берусь, опять же — тяжелы весла, и темна река нашей жизни, но почему-то остаюсь в твердом убеждении, что у Александра Исаевича возможность не писать эту вещь была. Возможно, возраст тому виною, а может, возвращение на родину, встретившую его не совсем так, как ожидалось.

Нужно обладать не только даром и волей, но и чувством Большого времени, чтобы наперед выстроить стратегию своего существования в литературе, подписать «договор с Высшими силами». Возможно, в пунктах «договора», подписанного Александром Исаевичем Солженицыным, значилось и возвращение в страну, из которой его выслали. Иначе не объяснить, почему вдруг один из самых известных российских писателей и диссидентов, отомстивший за сотни тысяч погибших

в лагерях, триумфально вернулся на родину с собственным планом ее обустройства. Не понял, что страна тогда больше чем наполовину состояла из триумфаторов и гудела ими так, словно на «пустом уроке». О каком «обустройстве» могла идти речь? Закон причинно-следственных связей никто не отменял — России еще предстояло отработать все те «узлы» и «сплотки», о которых сам же вернувшийся мастер писал в своем неподъемном даже для продвинутого читателя «Красном колесе».

Мир изменился и без суда над коммунистами. Не было больше надобности припадать в ночи к радиоприемнику, чтобы сквозь чинимые чекистами помехи услышать рассказ о том, как покидают Советский Союз евреи или как возвращаются в Россию великие и не очень писатели. Теперь эфир забивался шоколадками «Сникерс», бабочками «МММ», памперсами «Либоро» и обещаниями генералов прикончить войну... Александр Исаевич не мог не оценить по достоинству этого безудержного карнавала девяностых и, как всякий крупный писатель «на договоре с Высшими силами», предпочел обустроиться по вермонтскому опыту.

Нельзя сказать, что скрылся Александр Исаевич глухо, как тот же Сэлинджер в Корнише, появлялся, но по особым случаям. Видя его на экране, я всегда задавался одним и тем же вопросом: «Почему он никогда не улыбается? Какая, должно быть, невеселая у него жизнь. Интересно, у всех избранных Высшими силами такая?» И только когда на его родине, для которой он столько сделал, нашлись люди, обвиняющие писателя в антипатриотизме и «литературной власовщине», — понял, почему он не улыбается. Он отлично знал природу людей и несмотря на это продолжал выполнять пункты своего «договора».

За те четырнадцать лет, что суждено было прожить Александру Исаевичу в новой России, он, кажется, привык к ней, а она — к нему, как привыкают к тем, на ком держится мир. Без разницы — западный или восточный. Как без разницы, какой ветер дует новым мальчикам и новым девочкам, спешащим по старой московской улице, названной его именем. Хочется верить, что у них своего ГУЛАГа не будет, ибо за них уже принесли жертву. И разве не это высшая награда мастеру от Высших сил?

В забытом и забитом шумами эфире для меня вновь зазвучало его имя. И он *где-то там* стал для меня важнее, чем здесь.

Дмитрий Шеваров, прозаик (г.Москва)

Мой «другой» Солженицын

Вечерний снег, вечерний снег!
И ветви лип седые...

Александр Солженицын, 1949

Александр Исаевич часто и мучительно размышлял о тех моментах истории, когда для страны вот-вот могли открыться другие, не кровавые пути, а они не открылись и чаемое обернулось злом, оставив людей в безнадежности на многие десятилетия.

Почему окно возможностей для России закрывается всякий раз раньше, чем люди успевают им воспользоваться? Что ломается в механизме русской жизни в самый ответственный момент?

Обо всем этом много и в «Красном колесе», и в «России в обвале», и в текущей публицистике.

Но как отозвалось всё это в судьбе самого Александра Исаевича? Был ли тот момент, за которым мог последовать другой, альтернативный вектор развития его как писателя?

Конечно, возможности, упущенные страной, отнимают эти возможности и у каждого из нас. Не будь революции, гражданской войны, ГУЛАГа и снова войны — мы все были бы другими.

Но, кажется, Александр Солженицын был бы особенно *другим*.

Где бы в таком случае явилась миру шаровая молния его личности — в математике или физике, философии или историографии, космических исследованиях или священстве?.. Или все-таки — в русской словесности?

Мне думается, что в литературу он бы неизбежно пришел, но иным. Можно только гадать — каким именно. Но во всяком случае: скорее лириком, чем публицистом и проповедником. К лирике его звали бы и кисловодское младенчество в предгорьях Эльбруса, и звезды степного детства, и более поздняя неутолимая тяга к средней полосе России.

В нем заложены были не только горячность, страстность и чувство необходимости общественного служения, но и способность к внимательному созерцанию Божьего мира, к деятельному одиночеству, к бодрому затворничеству. Собственно, все его масштабные книги родились именно из такой вот редкой даже для писателей способности резко и глубоко удалиться от мира.

Мне кажется, глубоко неправы те, кто выводит Солженицына исключительно из исторических обстоятельств (а это уже стало общим местом в исследованиях о классике). Мол, не будь катастроф XX века, не было бы и Солженицына.

Я уверен: он состоялся бы при любой исторической «погоде». Не только в бурю и метель, но и в годы благодатной и спокойной народной жизни.

Благодать и спокойствие всегда хрупки и относительно, а сердце чутко. И Солженицын, ничуть не изменив своему данному от Бога дару, состоялся бы в этом уединении как ученый, поэт и мыслитель.

Да, о степени его прижизненной славы в таком случае можно лишь гадать, но так ли важна она была для Александра Исаевича? Не думаю. Если он и жаждал чего-то для себя, то полной самореализации — даже сверх собственных сил.

Дмитрий Сергеевич Лихачев говорил своим скороспелым биографам: «Не надо сводить мою жизнь к хеппи-энду».

Так и жизнь Солженицына не надо сводить к триумфу «пророка». Среди того, на что ему не хватило души и времени, — поэзия.

Михаил Бахтин, так много размышлявший о судьбе литературы в двадцатом веке, пришел к выводу, что у русской лирики после 1917 года перехватило дыхание. Лирика, говорил он, невозможна на ледяном ветру, на сквозняке. Этим он объяснял «неявку» в двадцатый век поэта, соразмерного Пушкину.

Да, новый Пушкин не пришел, но созданное поэтами XX века — оно было о милости к падшим. Оно согревало.

И среди того, что написано на сквозняке, — уцелевшие стихи и «крохотки» Александра Исаевича. Отсвет «другого Солженицына», которого я успел почувствовать.

У меня было всего две-три встречи с Александром Исаевичем. И каждый раз я уходил с необъяснимым щемящим чувством. Солженицын совершенно не совпал у меня с тем образом, который создали СМИ. Он не был ни резок, ни категоричен, ни самолюбив. В нем была несуетность, собранность и учтивость старого учителя математики.

Первая встреча была сразу после возвращения Солженицыных в Москву. Им дали какую-то временную квартиру около метро «Парк культуры». Я пришел на интервью с Натальей Дмитриевной, мы долго беседовали, разглядывали семейные альбомы, повсюду еще стояли неразобранные коробки. Потом пошли пить чай на

кухню. Накануне был день рождения Александра Исаевича, и на столе стоял почти нетронутый пирог. Из кабинета вышел АИ — в домашней рубашке, шлепанцах, веселый. После чая пригласил меня в маленький светлый кабинет, где кроме стола и одного стула еще ничего не было. Несколько минут мы «на ногах» поговорили о чем-то житейском.

Через пару лет я встречал Александра Исаевича у подъезда «Комсомолки» на улице Правды, когда вместе с Натальей Дмитриевной он приехал на «прямую линию». Это была работа: почти пять часов Александр Исаевич отвечал на звонки со всей страны. Одновременно он вел свою «бухгалтерию» по звонкам, что-то помечал карандашом, записывал. Было девять или десять телефонов, и все звонили одновременно. Мы, тогда молодые ребята, и то взмокли.

Наконец, Александр Исаевич попросил меня снять с лацкана его пиджака микрофон. Телевизионщики стали сматывать провода и укладывать камеры. Но собравшиеся газетчики из других изданий и сотрудники «Комсомолки» еще чего-то ждали. Впрочем, после такого марафона чего еще можно было ждать от 77-летнего человека?

Но Александр Исаевич стал говорить негромко, одновременно и размышляя, и увещевая. Эти слова его не были тогда опубликованы.

Александр Солженицын

«Я отказываюсь вариться в этом политическом моменте и в страстях его!..»

Заключительное слово после «прямой линии» в «Комсомольской правде» 15 апреля 1996 года. Публикуется впервые

Я тоскую по разговору с простыми слушателями всей России. Я объехал уже больше двадцати областей, еще куда-то поезжу, но всех не обойдешь и не объедешь. А сейчас я очень освежился, я услышал действительные голоса, никакие не подставные. Я просто счастлив, почему я и говорю: продолжаем-продолжаем, я нисколько не устал.

Для меня, когда я выступаю по политическим мотивам, для меня всегда есть две мерки: одна мерка историческая, то есть любой политический момент я не рассматриваю только с точки зрения этого политического момента. Я отказываюсь вариться в этом политическом моменте и в страстях его! Я всегда ставлю стержень русской истории — как он идет и что это будет. А второе — это не столько интеллектуальный, сколько нравственный уровень оценки.

Ужасна в наш век замороченность людей. Вот когда я выступал по телевидению, пока мне не запретили, предупреждал: не верьте нашей избирательной кампании, она насквозь фальшива, закон наш неправильный избирательный, несправедливый, неравный... Я еще в апреле прошлого года просил: тряске не поддавайтесь! Нет, пошла истерика. Ну и что получилось из всех этих выборов?

Надо созреть до того, чтобы наша судьба была в наших руках.

Я призываю «Комсомольскую правду» повысить уровень этих передач («прямых линий». — *Д.Ш.*). Не сводите все к эстраде, а лучше реже, да побольше, да давайте серьезные ответы. Я ужасно доволен сегодня, благодарен вам. Вы мне дали живое ощущение от общения с нашим народом.